



Максим Козлов

Кандидат

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Максим Козлов

Кандидат

*<https://litres.ru/73996228>
SelfPub; 2026*

Аннотация

Нейробиолог Виктор Лапин создаёт томограф, предсказывающий любое решение человека за 6 секунд до его осознания. Точность — 100%. Мир потрясён: если сознание не управляет телом, то мораль, право и любовь — фикция. Но, скрывая истину от человечества, Лапин сходит с ума, обнаружив, что даже его собственный бунт против predeterminedности был предсказан машиной. Пытаясь доказать существование свободы спонтанными поступками, он лишь убеждается в обратном. Это история о распаде личности, где научный триумф оборачивается экзистенциальным крахом, а единственной человечностью остаётся коллективное самообольщение. Но способны ли мы вынести правду, если её принятие разрушает саму жизнь?

Содержание

Машина, которая знала	4
Исповедь в цифрах	20
Нью-Йорк	35
Петля	48
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Максим Козлов

Кандидат

Машина, которая знала

Белый свет резал глаза — такой, знаешь, больничный, мертвый. Стены были выкрашены в цвет, который в каталогах гордо называется «яичная скорлупа», но на самом деле это цвет небытия. Цвет коридоров, где никто не задерживается просто так. Виктор Лапин стоял у окна своей лаборатории на четырнадцатом этаже и смотрел вниз. Город был серым. Ноябрь. Вторник. Тоска.

За спиной гудела установка. Она занимала добрую треть комнаты — белый цилиндр, смахивающий на дешевый реквизит из старой фантастики. Внутри лежал человек. Сорокин его фамилия. Аспирант-доброволец. Триста рублей в час.

— Начинаем, — бросил Виктор, не оборачиваясь.

Слова прозвучали глухо, будто упали в вату.

Лена, ассистентка с короткой стрижкой и вечно перепуганными глазами, ткнула кнопку на консоли. Установка загудела на октаву выше. По экрану поползли цветные линии — красные, синие, зеленые. Кровоток в мозгу. Электрическая активность нейронов. Химия, мать ее, математика. Предска-

зание.

— Сорокин, слышите меня?

— Ага, — голос из динамиков резал ухо металлом. — Только не усну. Кофе перебрал.

— Спать не надо. Просто выбирайте. Лево или право. Когда захочется. Никаких команд. Без сигнала. Просто когда рука потянется кнопку нажать.

— Понял.

На мониторе тикал таймер. Шесть секунд. Программа уже строила прогноз. Алгоритм перемалывал паттерны из моторной коры, префронталки, базальных ганглиев. Сперва облако вероятностей. Потом сужение. Точка.

— Левая, — сказал Виктор.

Сорокин нажал левую.

Лена зафиксировала результат в протокол. Пальцы у нее дрожали. Виктор заметил это краем глаза. Она вообще всегда тряслась — когда опыт шел хорошо и когда все катилось к чертям. Из тех людей, которых любая неопределенность выбивает из колеи.

— Дальше, — сказал Виктор.

И они продолжали. Сто попыток. Триста. Тысяча. Сорокин жал кнопки — левую, правую, опять левую, опять правую. Иногда он нарочно тянул время, пытался обхитрить машину. Иногда тыкал сразу, почти не задумываясь. Ему-то казалось, что он выбирает свободно. Что решение вызревает где-то внутри него — из пустоты, из воздуха, из загадочных

глубин души, как стихотворение у поэта.

Машина знала за шесть секунд до того, как он осознает.

Точность — 99.7 процента. Это значит, из тысячи нажатий она ошиблась трижды. Три раза, когда предсказание разошлось с реальным действием. Всем любопытным Виктор говорил одно и то же: технический брак. Шум в данных. Артефакты. Несовершенство железа, которые, как старый ламповый приемник, иногда ловят помехи.

Врал.

Не в шуме там было дело.

А в том, что эти три ошибки... они вовсе не были ошибками. Это были моменты, когда Сорокин видел предсказание. На дополнительном экране, который Виктор включал только в этих трех попытках, загоралось слово «левая» или «правая». И тогда аспирант, из чистого упрямства, из духа противоречия, из желания доказать — я тут главный, я решаю! — давил противоположную кнопку. Машина предугадывала его изначальный импульс, но не его реакцию на знание об этом импульсе. Вроде бы лазейка. Щель, сквозь которую теоретически могла бы просочиться пресловутая свобода воли.

Только вот свободой там и не пахло.

Потому что машина спокойно могла предсказать и это бунтарство.

Если бы Виктор ввел в модель фактор осознания, если бы алгоритм учитывал, что испытуемый видит прогноз, точность опять стала бы стопроцентной. Человек, взбунтовав-

шийся против predeterminedности, был так же предсказуем, как тот, кто о ней слыхом не слыхивал. Бунт — просто еще одна функция мозга. Еще одна волна на осциллографе. Еще одна точка на чертовом графике.

Виктор это знал. И молчал.

Закончили в шесть. Сорокин вылез из томографа, разминая затекшую шею. Молодой еще совсем, рыжий, с дурацкими веснушками на физиономии — пацан пацаном, даром что двадцать пять. Улыбался. Ему нравилось быть причастным к науке. Частью чего-то великого.

— Ну че, как я? — спросил он. — Сильно непредсказуемый?

— В пределах статистической нормы, — отрезал Виктор.

— А экран тот, вспомогательный? Вы его пару раз включали, для чего он?

— Технический тест. Не берите в голову.

Сорокин кивнул. И не стал допытываться. Люди вообще редко копают глубже, если им уже сунули готовый ответ. Им кажется, что они удовлетворили любопытство, хотя на деле просто схавали чужую версию.

Когда аспирант свалил, Виктор сел за стол и вытащил журнал наблюдений. Он вел его от руки — дурацкая привычка с аспирантских лет. Черная гелевая ручка. Белая бумага. Буквы, которые складываются в слова, которые складываются в мысли. Которые, в свою очередь, уже были кем-то или чем-то предсказаны.

Он написал:

«Субъект 47. Сорокин А. Точность прогноза: формально 99.7%, по факту — 100%. Примечание: субъект реагирует на осознание предсказания контрсуггестивным поведением. Реакция эта тоже предсказуема, если включить нужную переменную. Вывод: свободы воли нет в принципе. То, что мы зовем выбором — всего лишь осознание уже совершенного мозгом действия. Осознание всегда постфактум. Мы не авторы. Мы читатели, которым сюжет пересказывают с задержкой в шесть секунд».

Он захлопнул журнал. За окном стемнело окончательно. Город зажег свои бесчисленные огни — миллионы окон, миллионы решений, миллионы идиотов, которые свято верили, будто они что-то там выбирают. Будто могли поступить иначе. Будто они, черт побери, за что-то отвечают.

Ошибались ребята. По полной программе.

Виктор поднялся и шагнул к зеркалу. Оттуда на него уставился мужик средних лет — сорок три года, седина полезла в виски, глаза, которые перевидали слишком много графиков и данных. Он попробовал принять решение. Хоть какое-нибудь. Поднять левую руку или правую. Шагнуть вперед или назад. Остаться или свалить отсюда к чертям.

Он знал, что решение уже принято.

Знал, что машина считала бы его за те же гребаные шесть секунд.

Поднял левую руку. Потом правую. Потом уронил обе

плетьюми вдоль туловища.

Свободы не было. Одна иллюзия, старательно сляпанная эволюцией, чтобы социальные приматы могли функционировать в стае. Чтобы наказывали отщепенцев, награждали героев. Чтобы верили в справедливость. Вера в свободу воли — та же адаптация, что цветное зрение или способность к языку. Полезная, мать ее, фикция.

Зазвонил телефон.

Он знал, что это Наташа. Хотя может, и не знал. Но ждал. Время было ее.

— Ты придешь сегодня? — спросила она.

— Не уверен. Еще работы до хрена.

— У тебя всегда «работы до хрена». Твоя работа — это ты сам. Ты не работаешь, Вить. Ты прячешься.

— Может и так.

— Я котлет нажарила. Твоих любимых, с корочкой.

— Я есть не хочу.

— Да при чем тут голод? Просто поесть вместе. Ты хоть помнишь, каково это — просто посидеть вдвоем за столом?

Он помнил. Он всё помнил. У них Анька есть. Семь лет. Рисовала ему картинки, таскала в лабораторию, пока он не запретил ей туда приходить. Не от того что не любил. От того что боялся. Боялся, что однажды глянет на ее каляку-малюку и поймет: она нарисовала это не потому что «решила», а потому что нейроны в ее маленькой башке выплунули определенный сигнал. И тогда любовь к рисунку превратится в

химическую реакцию. И всё, абсолютно всё, станет просто химической реакцией.

— Ладно, приду, — сказал он.

— Правда?

— Да.

Бросил трубку и подумал: я это сам решил? Или решение вышло задолго до того, как я его осмыслил? Да и какая к черту разница?

Он вышел из лаборатории. Коридор был пустым и гулким. Лампы дневного света моргали с противной частотой, от которой начинало ломить в глазах. Шаги отдавались эхом. Лифт. Кнопка «1». Он нажал ее указательным пальцем правой руки. Мозг отправил команду за двести миллисекунд до касания. Осознание, как всегда, подтянулось позже. Вечно опаздывает.

На улице было зябко. Ноябрь в Москве — не время года, а состояние мозга. Серое небо, серые лица, серые, липкие мысли. Виктор топал по улице, и каждый его шаг был результатом каскада нейрхимических событий, запущенных хрен знает когда, может, миллиарды лет назад, когда первая живая клетка решила разделить надвое. Причина и следствие. Причина и следствие. Бесконечная гребаная цепь, где нет места никакой свободе.

Он вспомнил Бенджамина Либета. Был такой нейрофизиолог в Калифорнийском университете. В 1983-м провел знаменитый эксперимент: испытуемые должны были двигать

рукой и засекают момент, когда приняли решение. Параллельно Либет снимал электрическую активность мозга. Результат тогда всех потряс: потенциал готовности — всплеск в моторной коре — возникал на 300-500 миллисекунд раньше, чем человек осознавал, что он что-то там решил. Мозг знал до того, как «я» что-то поняло. Сознание было не автором. Свидетелем.

Либет умер в 2007-м. Так и не узнал, что Виктор Лапин пошел гораздо дальше. Не жалкие полсекунды. Шесть секунд. Целая вечность по нейронным меркам.

Виктор помнил тот день, когда впервые увидел этот разрыв. Сидел в лаборатории один, глубокая ночь, гонял данные нового протокола. Машина выдавала прогноз, и он сбывался. Раз за разом. Левая. Правая. Левая. Правая. Он стал увеличивать временной лаг. Секунда. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть.

На шести остановился. Просто потому что понял: дальше некуда. Шесть секунд — это ж вечность. За это время любой сто раз передумает. Но нет. Никто не передумывает. Вернее, само «передумывание» — такой же просчитываемый процесс, как и первоначальный импульс.

Он вышел тогда на балкон и долго пялился на небо. Звезд было кот наплакал — город засвечивал. Он пытался осмыслить. Найти лазейку. Если свободы воли нет, вся человеческая цивилизация — одна большая фикция. Право, мораль, религия, любовь. Всё это эпифеномены, пена на волнах де-

терминированной химии.

Трое суток не спал. На четвертые решил: он не расскажет миру всей правды. Только часть. 99.7 процента. Достаточно, чтобы пошатнуть основы. Недостаточно, чтобы их разнести к чертям.

Это было его решение. Или ему просто казалось, что его.

Сейчас он шел домой к жене и дочке, и каждый его шаг был предопределен.

Дверь открыла Наташа. Вся в муке, в дурацком фартуке. Пирог пекла, яблочный, его любимый. Пахло от нее корицей и, кажется, тревогой. Она всегда тревожилась, когда он задерживался.

— Пришел.

— Я же сказал.

— Ты много чего говоришь.

Разделся в прихожей, повесил пальто на старую деревянную вешалку. С блошиного рынка в Берлине, когда еще вместе мотались в командировки. Тогда она была его ассистенткой. Тогда они еще верили во всё это.

Анька вылетела из комнаты в пижаме с фиолетовыми единорогами. Единороги блестели.

— Пап! Гляди че нарисовала!

Он взял рисунок. Семья: мама, папа, девочка. Все с улыбками до ушей. Головы огромные, тела крохотные — так все дети в семь лет рисуют. Солнце сверху. Солнце тоже лыбились.

— Круто, — сказал он.

— Я очень старалась. Чтоб ты пораздовался.

«Старалась». «Чтоб пораздовался». Слова, которые ничего не значат. Или значат всё. Он прижал ее к себе, вдохнул запах — детский шампунь, клубника. Запах запустил выброс окситоцина. Окситоцин дал ощущение тепла. Тепло он интерпретировал как любовь.

Имело это значение?

А хрен его знает.

За ужином ели котлеты. Котлеты как котлеты, нормальные. Наташа рассказывала про свой день — она вкалывала редактором в научном журнале, правила чужие статьи про мозг, поведение, сознание. Свято верила в свободу воли. Говорила: «Автор сделал интересный выбор в методологии». «Автор выбрал». «Выбрал». Виктора аж передергивало от этого слова.

— Че такой молчаливый? — спросила она.

— Думаю.

— О чем?

— О работе.

— Ты вечно думаешь о работе.

— Она важная.

— Важней нас?

Он не ответил. Пялился на вилку в руке. Нержавейка. Свет люстры отражается. Мелькнула дурная мысль: а вот щас возьму и проткну себе руку. Спонтанно. Докажу свобо-

ду. Машины рядом нет, не предскажет.

И тут же осадил себя. Эта мысль — тоже продукт нейрoхимии. Если б подключить его к томографу, машина засекала бы подготовку импульса за те же шесть секунд. А может, и раньше. Может, еще утром считала. Может, еще неделю назад. Может, свободы нет не только в моменте, а вообще, на масштабе всей жизни. Может, вся его траектория от рождения до смерти была задана начальными условиями Большого Взрыва.

Положил вилку на стол.

— Важней, — выдавил он. — Только по-другому.

Наташа покачала головой. Этот жест он знал наизусть.

После ужина укладывал Аньку. Та требовала сказку. Он начал нести что-то про принцессу, которая жила в замке и выбирала между тремя принцами. Каждый выбор вел к новой судьбе. Дочь слушала с открытым ртом.

— А если б она выбрала не того? — спросила.

— Да не могла она выбрать не того.

— Это почему еще?

— Да потому что каждый ее выбор был единственно возможным. Просто она не в курсе была.

— Скучная какая-то сказка.

— Ага. Скучная.

Чмокнул ее в лоб и выключил свет. В темноте на потолке горели наклейки-звезды. Зеленые такие, фосфоресцентные. Анька сама их клеила. Или ей казалось, что сама.

Вернулся на кухню. Наташа мыла посуду.

— Помочь? — спросил он.

— Да почти всё.

— Давай вытру.

— Ты ж никогда не вытираешь.

— Ну сегодня вытру.

— Вить, что с тобой творится последние месяцы? Ты сам не свой.

Сел на табуретку. За окном повалил снег, первый в этом году. Снежинки падали медленно, будто у них куча времени в запасе.

— Мы в Nature заявку отправили, — сказал он. — Если примут это будет бомба.

— В смысле?

— В нобелевском.

Она замерла с тарелкой в руках. Вода лилась из крана прямо в раковину.

— Seriously?

— Да.

— И че вы открыли?

— Научились предсказывать решения. Не угадывать, а именно предсказывать. С точностью, которой не может быть.

Она вытерла руки полотенцем и села напротив. Взгляд стал острый, серьезный. Такой, как раньше, когда они только познакомились. Тогда она, студентка-биолог, вечно задавала неудобные вопросы. Вот и сейчас задала.

— И че это все значит?

— А значит, что нет у нас никакой свободы воли. В физическом смысле. Наши решения — просто результат химии в башке, которая запускается до того, как мы что-то там осознаём. Мы не выбираем, Наташ. Мы просто зрители.

— Но мы же чувствуем

— Иллюзию мы чувствуем. Мозг задним числом примаывает сознание к тому, что уже сделано. Как будто футбольный комментатор думает, что это он гол забил.

— Но это же кошмар какой-то.

— Это факт.

Она замолчала надолго. Снег все валил и валил. Белые мухи на черном фоне.

— Если это правда, — тихо сказала она наконец, — тогда все теряет смысл. Нельзя ни судить никого, ни хвалить. Ни любить даже.

— Можно. Только иначе.

— Как?

— Как погоду. Ты ж любишь солнечный день? Или вот снег первый.

— Сравнил

— А че сравнивать? Человек — та же погода, только очень сложная. Со своими циклонами и антициклонами в башке.

Она снова покачала головой. Встала, подошла к окну. Спина напряжена, плечи подняты.

— На хрена ты мне это рассказываешь?

— Потому что я не знаю, что с этим делать теперь.

— А че тут сделаешь? Или принять, или нет.

— Или доказать, что это фигня.

— Ты ж сам говоришь — 99.7.

— Ноль три еще остается.

— Это много?

— Это всё.

Он опять не сказал ей правды. Не сказал, что 0.3 — липа. Что на деле ноль. Абсолютный, глухой, беспросветный. Что каждое ее движение, слово, взгляд — всё было предопределено в тот момент, когда Вселенная бабахнула из сингулярности. Что их встреча — не судьба, а неизбежность. Что дочка — не осознанный выбор, а уравнение. Что вся их совместная жизнь — киноплёнка, которую они не снимали, а тупо смотрели.

Не сказал. Струсил. Побоялся, что она уйдет. Побоялся, что останется. Побоялся, что вообще ничего не изменится.

— Я спать, — сказала она.

— А я еще посижу.

Ушла. Он остался один на кухне. Снег за окном, кап-кап из крана. У каждой капли свой интервал, который можно просчитать, зная давление в трубах и изгиб прокладки. Всё, мать его, предсказуемо.

Достал телефон. Почта. Письмо от редактора Nature. Он знал, что оно там будет. Знал содержание. Знал вердикт.

«Уважаемый доктор Лапин,

Ваша статья «Предсказание произвольных моторных решений с использованием мультимодальной нейровизуализации: шестисекундный временной лаг» принята к публикации с немедленным приоритетом. Редколлегия признает революционный потенциал вашего открытия. Мы предлагаем эксклюзивный выпуск»

Революционный потенциал. Ага, щас. Красивая ложь.

Никакой революции не будет. Революция — это когда можно выбрать новое. А если выбора нет, революция — просто точка на заранее прочерченной линии.

Налил себе чаю. Черный, без сахара. Глотнул. Язык почувствовал горечь. Мозг расшифровал сигнал. Сознание зарегистрировало вкус.

Кто был автором этого глотка?

Никто.

Или наоборот — всё сразу.

Поставил кружку, зажмурился. Под векамиплыли цветные пятна. Случайный шум. Или не случайный. В мире, где нет свободы, случайности тоже нет. Только закономерности, которые мы пока не научились считывать.

Просидел так до двух ночи. Потом поплелся в спальню. Наташа спала, дышала ровно. Ей что-то снилось. Он не знал, что именно, но знал, что машина могла бы узнать. Могла бы предсказать содержание ее снов, считав мозговую активность перед засыпанием. Ничто не укрыто. Абсолютно ничто.

Лег рядом, устался в потолок. Белый. Цвет яичной скорлупы. Цвет небытия. Цвет больничных палат и лабораторных стен.

Завтра он снова попрется в лабораторию. Завтра продолжит. Завтра мир узнает. Или не узнает. Или узнает, да не так. Всё это уже, блин, решено.

Закрыл глаза.

Сон пришел минут через семнадцать. Он это знал, потому что тупо пялился на часы. 2:17. 2:18. 2:19.

В 2:34 он уже спал.

Исповедь в цифрах

Публикация рванула во вторник.

Вторник — день такой, пустой. Журналисты вечно ноют: вторник — мертвый день для новостей. Пресс-конференции лепят на среду, скандалы разгораются к четвергу, в пятницу всем уже плевать, все намылились на выходные. Но тот вторник выбивался из колеи конкретно.

Виктор продрал глаза в шесть утра. Телефон аж вибрировал на тумбочке — сообщения, звонки, уведомления, сплошной поток, будто трубу где-то прорвало. Он не отвечал. Просто валялся и пялился в потолок. Белый, пустой — цвет, который ни хрена не значит.

— Не возьмешь? — спросила Наташа.

Она уже не спала. Сидела на краю кровати, в халате, с кружкой кофе. От кофе пар шел, горький такой запах, утренний.

— Позже.

— Из-за статьи, да?

— Ну.

— Чего пишут-то?

— Не читал еще.

— Так прочти.

Взял телефон. Экран засветился синим. От синего света мелатонин рушится — это он наизусть помнил. Гормон сна,

циркадные ритмы. Химия, мать ее. Всё — химия.

Письмо от обозревателя The New York Times: «Доктор Лапин, ваше открытие переворачивает представления о природе человека. Не могли бы вы»

Письмо от чувака из Гарварда: «Виктор, это охренеть как круто. Но ты хоть сам-то понимаешь, че натворил?»

Письмо от какого-то левого типа: «Вы врете всё. Свобода есть. Я за вас молюсь».

Еще от одного: «Спасибо. Теперь я знаю — я не виноват».

И от третьего, видимо философа доморощенного: «Если нет свободы, то и греха нет. А если греха нет, то Бога нет. А если Бога нет»

Виктор бросил телефон обратно на тумбу. Наташа сверлила его взглядом. У нее глаза карие, с зелеными крапинками у зрачка. Он раньше мог разглядывать их часами. Когда только познакомились, ему казалось — космос целый. Теперь он знал — просто меланин в радужке распределился. И все дела.

— Ты прям другой стал, — сказала она.

— Я знаю.

— Холодный как лед.

— Я точный стал. Это другое.

— По мне — одно и то же.

Встала и ушла на кухню. Шаги босые, половица скрипнула — третья от двери, старая. Он этот скрип наизусть помнил. Раньше это его умиляло, теперь просто факт.

Поднялся, оделся, вымелся из квартиры.

Москва встретила свинцовым небом и кашей под ногами — снег падал и таял на лету. Ноябрь, че. Зима еще типа раздумывает, наступать или обождать. Или ей просто кажется, что раздумывает.

В метро воняло мокрой одеждой и вселенской усталостью. Люди сидели, уткнувшись в экраны. Новости читали. Половина про него. Заголовки прям через плечо видно: «Ученый доказал: свободы нет». «Конец ответственности?» «Машина знает вас лучше, чем вы сами».

Один мужик напротив — лет сорока, серое пальто, портфель на коленях — листал статью и башкой качал. Не знал, придурок, что объект статьи стоит в полутора метрах от него. И что его собственное решение эту статью открыть было предрешено задолго до того, как он утром глаза продрал.

Вагон качнуло. Виктор вцепился в поручень. Ладонь сжала холодный металл. Мозг дал сигнал, мышцы сократились. А осознание, как всегда, подтянулось с опозданием.

Лаборатория была на четырнадцатом. Двери лифта разъехались — Лена уже торчала на площадке с красной папкой в руках. Красный цвет — длина волны около семисот нанометров. Колбочки в сетчатке возбудились. Импульс в зрительный нерв. Интерпретация в затылочной коре. И в какой момент тут она, свобода? Нету момента.

— Там это журналисты, — выпалила Лена. — Толпа. Хотят разговора.

— Не буду я с ними базарить.

— Придется. Ректор трезвонил. Говорит, универу это важно.

— Универу важно. Не мне.

— Виктор Сергеич, ну пожалуйста.

Глянул на нее. Молодая совсем, двадцать шесть, способная девка. Верила в науку как в поиск истины. Не знала еще, что от истины бывает тошно так, что выть охота.

— Ладно, — сдался он. — Десять минут. Потом я работаю.

Журналистов набилось под завязку, человек тридцать. Камеры, микрофоны, диктофоны эти мелкие — как жуки черные, слова жрут.

Виктор встал за кафедру. Деревянная, тяжелая, с гербом — книга и факел. Типа знание, просвещение. Символы, за которыми пустота.

— Задавайте вопросы, — буркнул он.

Лес рук. Кивнул рыжей тетке в первом ряду — The Guardian.

— Доктор Лапин, ваше исследование показывает точность 99 и семь. Вам не кажется, что оставшиеся ноль три процента — это и есть зазор для свободы?

— Нет.

— Но почему?

— Да потому что это брак измерения. Шум. Когда допилим детекторы, будет сотня.

По залу аж шелест прошел. Как листья под ветром. Ветер не выбирает куда дуть, листья не выбирают куда падать — вот и шепот их такой же.

Следующий. Мужик в синем костюме, Der Spiegel.

— Если свободы нет, тогда что такое сознание? На кой черт оно вообще?

— Интерфейс. Как экран монитора. Видите иконки, окна, курсор — кажется, будто вы управляете. А на деле процессор пашет, а экран только картинку показывает. Мозг — процессор. Сознание — экран.

— Но эволюция зачем этот экран родила?

— Вопрос годный. Думаю, для общения. Чтобы мы могли другим объяснить, почему лягнули или сделали чего. «Я сделал это, потому что» — это байка, которую сознание задним числом сочиняет. Мы не авторы, мы пресс-секретари при поступках.

Третий. Девушка с короткой стрижкой, ВВС.

— Вы осознаете последствия для права? Если нет свободы — преступник не виновен. Судить нельзя.

— Осознаю.

— И че делать?

— Это не научный вопрос. Это к обществу. Пусть решает, как с этим жить.

— А сами-то вы что думаете?

Виктор замолчал. Тишина в зале аж звенела. Камеры уставились черными зрачками.

— Думаю, — сказал он наконец, — что мы продолжим судить. Наказывать. Хвалить. Потому что не можем иначе. Иллюзия свободы — это как операционка у общества. Убери — синий экран смерти вылезет.

— То есть вы предлагаете жить во лжи?

— Я не предлагаю. Я говорю как есть. Мы и так во лжи живем. Только теперь мы в курсе.

Вопросы кончились. Может, и были еще, но он уже развернулся и вышел. Коридор, лифт, четырнадцатый этаж.

В лаборатории было тихо. Только машина гудела — ровно так, низко, будто океан где-то вдалеке. Виктор плюхнулся за пульт, открыл вчерашние данные. Сорокин, субъект сорок седьмой, попытки с тысячной по тысяча сотую. Точность сто процентов. Всё предсказано. Всё предрешено.

Листал графики, как другие семейные альбомы листают. Вот потенциал готовности попер за шесть и две до клика. Вот за пять и восемь. Вот чувак пытался систему надуть — жал кнопки типа вразброс. Только вразброс не вышло. Машина видела паттерн там, где человеку чудился хаос.

Лена зашла. Все еще с этой дурацкой красной папкой.

— Жестко вы с ними.

— Честно.

— Честность иногда та еще жестокость.

— Бывает.

— Там еще один дожидается. Говорит, личный вопрос у него.

— Тащи сюда.

Журналиюга оказался молодым парнем, лет двадцать пять, не больше. На репортера не похож — джинсы мятые, рубашка из-под всего, рюкзак. Диктофон-жук в руке.

— Павел я, — сказал. — Студенческая газета. Можно вопрос не для печати?

— Ну давай.

— Вы там сказали про точность сто процентов. Это для красного словца или реально?

Виктор глянул на него. Парень смотрел прямо, хотя видно — ссыт. Миндалевидное тело активничает, адреналинчик гуляет, пульс частит. Химия, блин.

— Реально, — сказал Виктор.

— То есть вы вы уже получили сотню?

— Получил.

— А на пресс-конференции почему промолчали?

— Мир не готов.

— А когда будет готов?

— Никогда.

Павел помолчал, потом демонстративно вырубил диктофон. Жест, мол, всё, разговор строго между нами. Только жест этот тоже был предрешен, как и всё остальное.

— Можно еще вопрос? Вообще личный.

— Валяй.

— Вы сами-то верите в это? Ну, в то, что говорите? Или вы просто ученый, получили результат и теперь его тянете

за уши?

Виктор встал из-за пульта, подошел к окну. Город внизу — серый, ноябрьский, с серыми людьми внутри.

— Я не верю, — сказал он тихо. — Я знаю. И меня это знание, Паш, убивает потихоньку.

— В смысле?

— В прямом. Я утром глаза открываю и думаю: «Я решил встать». Но я же знаю — не решал. Иллюзия. На жену смотрю: «Люблю». И знаю — окситоцин, дофамин, серотонин. На дочь смотрю: «Продолжение мое». А это просто эволюционный императив. Я всё знаю. И ни хрена не чувствую.

Павел побледнел. Или Виктору показалось — он уже и своим глазам не очень доверял.

— И как вы с этим живете? — выдавил парень.

— А никак. Функционирую.

— Это пиздец, доктор Лапин.

— Это правда, Паш.

Павел слинял. Шаги стихли в коридоре. Виктор остался один на один с гулом машины.

Сел и открыл свои собственные данные. Месяц назад он сам лег в томограф, как обычный испытуемый. Данные записал, но не смотрел. Трусил.

Теперь открыл.

Субъект номер один. Лапин В.С. Дата: четырнадцатое октября. Попыток: сто штук. Точность прогноза: сто пудов.

Цифры. Черные на белом. Пиксели, светодиоды, электри-

чество. Ничего, блин, личного.

Полез глубже. Вот его собственный потенциал готовности. Вот момент, когда ему казалось, что он решает. А между ними — шесть и одна десятая секунды пустоты. Его «я» еще не в теме, а машина уже всё знает.

И тут он увидел то, чего не ждал.

Расширенный анализ. Он его сам написал две недели назад — алгоритм, который предсказывает не только моторные действия, а сложное поведение. Запускал в тестовом режиме на всех подряд, и на себе тоже. И забыл, блин, вырубить.

На экране таблица.

Решение первое (какую кнопку нажать): предсказано за шесть и одну. Решение второе (согласиться на эксперимент): за сорок семь часов. Решение третье (стать нейробиологом): за двадцать три, сука, года.

Двадцать три года.

Машина утверждала, что его выбор профессии — не просто типа склонность к науке, а конкретно нейробиология — был виден по паттернам мозговой активности, записанным еще на студенческой практике. ЭЭГ, фМРТ. Данные в архиве валялись двадцать три года. Он их просто ради проверки в модель скормил.

Машина утверждала, что по тем старым записям можно было предсказать его карьеру. Жenu. Дочь. Открытие.

Закрыв файл. Открыл опять. Ничего не поменялось.

Бред. Ошибка. Переобучение модели, корреляция, при-

нятая за причинность. Технический глюк.

Вот только он знал — не глюк.

Сам же алгоритм писал, сам на тысячах симуляций гонял, сам подтверждал.

Если алгоритм не врет, то вся его жизнь — не цепочка выборов, а готовый сценарий. Он стал нейробиологом не потому, что выбрал, а потому что паттерн в башке двадцатилетнего пацана уже вел по этой колее. Машину создал не потому что придумал, а потому что не мог не создать. Свободу воли похоронил не потому что докопался, а потому что это было заложено.

Встал. Прошелся. Сел. Опять встал.

Мысли метались. Или иллюзия метаний. На самом деле они ползли по своей орбите — как планеты.

Наташа. Их брак был предсказуем. Не в смысле «подходят друг другу», а в прямом: в тот день, когда они столкнулись в столовке, их мозги уже несли всю инфу, чтобы влюбиться. Они не влюбились — влюбленность с ними случилась.

Аня. Ее рождение — не «мы решили завести». Сама мысль, момент зачатия, личность ребенка — всё уже сидело в нейросетях, слепленных задолго до их встречи с Наташей.

То, что он сейчас сидит и тупит в монитор. Тоже предсказано. Тоже заложено. Он не «реагирует на открытие». Он программу обрабатывает.

Свободы нет.

Ни в чем.

Нигде.

Никогда.

Он заржал. Смех вылез какой-то нездоровый — высокий, лающий. Лена сунулась в дверь.

— Виктор Сергеич? Всё нормально?

— Зашибись. Всё просто зашибись.

— Вы уверены?

— Абсолютно.

Свалила. Он остался.

Думал — че делать-то теперь? Публиковать это? Сказать миру, что не только кнопки нажимать, а вся жизнь — фильм, который уже сняли? Что ты не автор судьбы, а зритель в темном зале?

Представил последствия. Суды — судить нельзя. Школы — оценки ставить бессмысленно. Церкви — грехи отпускать некому. Правительства — ответственность требовать не с кого. Любовь — не заслужить. Ненависть — не оправдать.

Мир посыплется. Не с грохотом, как от бомбы. А как замок из песка, когда вода уходит — тихо, неумолимо, навсегда.

И он, Лапин Виктор Сергеевич, эту воду в кулаке держит.

Не просил. Не хотел. Но знание пришло — неизбежно, как ночь, как зима, как смерть.

Вырубил экран. Данные исчезли. Только они не исчезли — в памяти компа, в облаке, в его башке. Не избавиться. Можно только забыть. А он забывать не умел.

Часы показывали семь. За окном темень. Город в огнях. Миллионы людей прутся по домам и думают — я выбрал этот путь. Придурки.

Набрал Наташе: «Не приду сегодня. Останусь. Работа».

Ответ через минуту: «Ок».

Одно слово. Ни «почему», ни «надолго ли». Просто «ок». Может, устала спрашивать. Может, поняла — вопросы без толку.

Лег на кушетку в углу. Продавленная, вонючая, больничная. Закрыв глаза.

Цифры плыли. 99.7. 100. 6.1. 23 года.

Двадцать три года назад он лежал в томографе, пацан-студент. Ему сказали: «Расслабьтесь, думайте о чем-нибудь». Он думал о будущем. Кем станет, что откроет. Не знал, что будущее уже здесь. Уже записано в извилинах. Он его не придумывает — он его вспоминает.

Открыл глаза. В темноте светились индикаторы машины — красные, зеленые, синие. Машина не спала. Никогда не спала.

Встал, подошел к ней. Белый саркофаг. Чрево истины, мать его.

Открыл люк и залез внутрь. Холодный пластик. Узко. Уставился в потолок томографа — белый, как всё вокруг.

— Ну давай, — сказал вслух. — Предскажи меня.

Машина молчала. Она не разговаривала. Просто писала, анализировала, знала.

Лежал и думал. О завтра. О годе. О том, будет ли вообще это «потом».

Потом мысли кончились. Тишина. Только гул — ровный, низкий, будто зверь спит и дышит.

В два ночи встал и поплелся к компу. Машина записала всё — все метания, все «решения». Каждое предсказала.

На экране: «Субъект 1. Лапин В.С. Сессия 2. Точность 100%».

И строчкой ниже: «Рекомендация: субъекту требуется психологическая помощь. Риск суицида — 87%».

Смотрел на эти слова. Восемьдесят семь. Не сто. Значит, есть тринадцать процентов. Шанс. Ошибка модели. Или надежда.

Хрен пойми что из этого.

Вырубил комп и лег обратно.

Завтра продолжит. Данные перепроверит. Найдет ошибку. Или не найдет.

Сон то ли пришел, то ли нет — он уже границу не ловил.

Утром разбудил звонок. Ректор.

— Виктор Сергеич, — голос у мужика срывался, почти визг. — Вы новости видели?

— Неа.

— Включите!

Врубил телек. Студия новостей, ведущий че-то тараторит. Он не вслушивался, тупо уставился на бегущую строку внизу.

«Российский нейробиолог доказал: свобода воли — иллюзия. Религии требуют запрета. ООН собирает экстренное заседание».

— Понимаете, что творится? — орал ректор.

— Понимаю.

— Вас в Нью-Йорк зовут. В ООН. Обсудить последствия.

— Не поеду.

— Это не просьба. Это

— Приказ?

— Это необходимость! Вы ящик Пандоры открыли, Виктор Сергеич. Теперь извольте объяснить, че там внутри.

Бегущая строка поползла дальше: «Нобелевский комитет обсуждает экстренное присуждение премии. Переворот в понимании человека».

Нобелевка. Вершина. Мечта всей жизни. Или не мечта. Или не его. Или просто паттерн, предсказанный тупой железкой.

— Я подумаю, — сказал он.

— Думайте шустрее. Самолет через три дня.

Гудки.

Виктор сидел на кушетке. Тишина. Гул.

Подошел к окну. Город. Обычный. Люди прутся на работу, кофе хлещут, думают — я решаю.

Ошибка.

Он знал — они не примут. Никогда не примут.

Знал, что полетит в Нью-Йорк, потому что не полететь не

может.

И еще знал, что 87 — это не 100.

В этом была его надежда. Или его иллюзия. Или его приговор.

Нью-Йорк

Самолет выдернули из Шереметьево в десять вечера. Виктор прилип к иллюминатору и тупо пялился на огни полосы — синие, желтые, белые точки, разложенные по линейке. Красиво, спору нет. Только красота эта была предсказуема, ее инженеры придумали, а инженерам казалось, что они там что-то решали.

Рядом пыхтел ректор — Аркадий Михалыч Брагин, мужик грузный, с одышкой и вечно потным лбом. Он увязался сопровождать, хотя Виктор его не звал. Ученый совет что-то там постановил, Виктору сказали постфактум. Хотя какая теперь разница.

— Вы там это поаккуратней, — бубнил Брагин, дергая галстук. Галстук был синий в красную полосу, дурацкий. — Там же делегации со всего мира. У каждой страны свои закидоны, верования

— Я ученый, — оборвал Виктор. — Не дипломат.

— Вы — чувак, который заявляет, что никто ни за что не в ответе. Это политика, хотите вы того или нет.

Виктор отвернулся к иллюминатору. Самолет забирался выше, Москва внизу скукожилась в оранжевое пятно и пропала. Одна чернота кругом.

Он думал, чего скажет в ООН. Не про слова — слова фигня. Про то, как эти слова люди услышат. Будут сидеть, ки-

вать, делать умные лица. И ни черта не поймут. Не смогут — потому что понять означает выкинуть на помойку всё, на чём их жизнь держится.

Стюардесса предложила выпить. Брагин цапнул виски. Виктор — воду. Без вкуса, без цвета, без вариантов.

— Можно вопрос? Личный, — Брагин осмелел после второго стакана.

— Ну.

— Вы-то сами как? Вообще?

— В смысле?

— Ну такое открытие Я знавал ребят, которые после куда меньшего с катушек слетали.

— Я в норме.

— А по виду не скажешь. Вид такой, будто неделю не спите.

— Я сплю. Только сны как-то не вывозят.

Брагин хотел добавить что-то ещё, но передумал. Захлопнул глаза и через пять минут уже сопел с присвистом. Виктор ему завидовал. Спать-то он спал, а вот не думать — не умел.

Летели над Атлантикой. Внизу — черная вода, холодная, на километры вглубь. Виктор на секунду представил: самолет падает. Просто валится в океан, и всё, кино кончилось. Но он знал — не упадет. Пилоты не рулят, автопилот ведет по маршруту, который забили в программу люди, чьи решения были предрешены. Падение — тоже было бы предрешено. Но не сегодня.

Достал ноут. Открыл свой файл, субъект номер один. Перечитывал в сотый раз, будто ошибку выискивал. Ошибки не было.

Машина предсказала, что он будет в этом самолете. Еще неделю назад, когда он лежал в томографе и тупил: «ехать — не ехать». На экране загорелось: «Вероятность поездки — сто процентов». Он тогда не поверил. Решил доказать, что фиг им. Послал ректора, накатал официальный отказ, даже купил билет в Новосибирск — на скучнейшую конференцию про эпилепсию.

Но ректор набрал опять. Потом из министерства. Потом из Кремля. Сказали: «Надо». Он сказал: «Не хочу». Ему: «А тебя не спрашивают». Он: «Ладно».

И вот он тут, над Атлантикой.

Его это был выбор? Или тех, кто звонил? Или тех, кто ситуацию слепил так, что звонки стали неизбежны? Или бездушной материи, которая миллиарды лет ползла к этому моменту?

Ответ был один. И он Виктора душил.

Захлопнул ноут. За бортом начало сереть. Солнце вылезало над океаном — оранжевая полоса. Красиво, да. Только красота — реакция мозга на симметрию и контраст. Дофаминчику подкинуло, серотонинчику. Химия.

В Кеннеди их встретили. Трое скучных мужиков в костюмах, тетка с планшетом, два амбала-охранника. Тетка представилась советником по протоколу. Улыбка у нее была

— закачаешься, натренированная до мышечной памяти. Ни грамма спонтанности. Ни грамма свободы.

— Доктор Лапин, какая честь, — пропела она. — Машина ждет.

— Че за машина?

— Автомобиль. В отель вас доставят. Завтра Ассамблея, а сегодня отдых.

Отдых. Пустое слово.

Заселили на Манхэттене, сорок второй этаж. Окна от пола до потолка, вид на Центральный парк — зеленый прямоугольник среди серых коробок. Деревья еще не облетели, хотя ноябрь. Или облетели. Он не вглядывался.

Кинул сумку и встал у окна. Внизу ползли тачки — желтые такси, черные джипы. Люди на тротуарах — букашки, каждая по своей траектории. И каждая уверена, что маршрут выбрала сама.

Представил: разбить окно и шагнуть. Сорок второй этаж — хватит за глаза. Никаких чудес, чистая физика: ускорение, сопротивление, асфальт. Точка.

Но он знал — не шагнет. Не из страха. Не из жажды жить. А потому что машина выдала 87 процентов суицида, но не сто. И эти тринадцать его держали. Как научный вопрос: почему не сотня? Где косяк? Или где она, эта долбаная свобода?

Отошел от окна и рухнул на кровать. Кровать — лётное поле, шесть подушек. Шесть! Кому, блин, в голову взбрело

пихать в номер шесть подушек? И это решение было свободным?

Вырубил телек. CNN. Про него трещат.

«российский нейробиолог Виктор Лапин, чьё открытие называют самым скандальным в истории науки о мозге. Сегодня он прибыл в Нью-Йорк. Напомним, эксперимент Лапина доказывает, что решения человека можно предсказать за шесть секунд до их осознания. Точность — девяносто девять и семь. Критики вопят, что рушатся мораль и право»

Вырубил. Девяносто девять и семь. Они талдычат эту цифру, не зная, что она туфта.

Лег, зажмурился. Спать не тянуло, но тело выкручивало своё. Телу плевать, чего он там думает.

Разбудил стук. Три удара, пауза, еще три.

— Открыто.

Брагин зашел, уже в свежей рубашке и другом галстуке — серый в горох.

— Виктор Сергеич, через час в ООН. Ждут.

— Я в курсе.

— Готовы?

— К чему?

— К речи.

— У меня нет речи.

— Как нет? Вы обязаны были

— Я ничего не готовил. Скажу как думаю.

Брагин аж цветом поменялся — то ли побледнел, то ли

побагровел. У него вечно так: нервы — сосуды — кровь к лицу. Физиология.

— Не можете вы просто «сказать как думаете». Там дипломаты, политики, важные шишки

— Я ученый. Я правду скажу.

— Правда разная бывает.

— Правда одна. Всё остальное — лапша на уши.

Ректор вытер лоб платком с монограммой и выкатился. Виктор залез в душ, натянул темно-синий костюм — то ли купленный специально, то ли просто оказавшийся в шкафу по цепочке причин, которую он не выбирал.

Здание ООН давило стеклом и бетоном. Флаги ста девяноста трех стран трепыхались на ветру с Ист-Ривер. Ветер не выбирал куда дуть. Внутри пахло кондеями и мебельной полиролью. Металлодетекторы, проверка доков, бейджи. На его бейдже: «Dr. Victor Lapin. Neuroscience. Russian Federation». Белые буквы на синем.

Зал Генеральной Ассамблеи — вообще отвал башки. Ярусы до потолка, зеленые столы, наушники для перевода. Герб — карта мира в оливковых ветках. Символ мира. Пустышка.

Посадили его за отдельный стол. Брагин рядом, еще кто-то из миссии — он имен не запоминал. Неважно.

Председательша из Ганы, с прической как башня, что-то втирала про науку, этику, диалог. Слова гладкие, как галька обкатанная. Пустые.

Потом дали слово ему.

Подошел к трибуне. Мрамор, холод. Микрофон вонял чужим дыханием.

Глянул в зал. Сотни рож. Сотни мозгов, шелкающих по законам физики. Каждый мнит, что он тут по своей воле. Каждый ошибается.

— Я Виктор Лапин, — начал он. — Нейробиолог. Полгода назад я сварганил машину, которая предсказывает решения человека до того, как он сам их осознает.

Тишина стала ватная, хоть режь.

— Точность — 99 и семь. Так в статье, так в новостях. Это правда, да не вся. Реальная точность — сто процентов.

Зал взорвался. Гул пошел волной, отдельные выкрики тонули в общем гаме. Председательша заколотила молотком.

— Я скрыл это, — он почти кричал, перекрывая шум. — Скрыл, потому что испугался. Не за себя — за вас. За мир, который стоит на том, что мы типа выбираем. Только мы не выбираем. Свободы нет. Ни в каком измерении, ни на каком масштабе. Ваше решение припереться сюда сегодня — предопределено. Ваше решение беситься от моих слов — тоже. И решение их отвергнуть — тоже.

Шум нарастал. Кто-то вскакивал и выходил. Кто-то орал. Молоток стучал без толку.

— Это не философия, — рубанул Виктор. — Это физика. Мозг — железяка материальная. Материя подчиняется причинности. У каждого нейронного тычка есть причина в предыдущем. В этой цепочке свободе просто нет щели. То,

что мы зовем выбором — осознание уже сделанного мозгом. Мы не авторы. Мы свидетели.

Он замолчал. Зал гудел как трансформатор. Многие делегаты сняли наушники — то ли переводчики сдохли, то ли слушать не хотели.

— Что это значит? — спросил он тише. — Что ответственность — фикция. Преступник не виноват. Герой не заслужил. Вы свои успехи не заработали. Я на эту трибуну не заслужил. Всё что мы делаем — это то, чего не могли не сделать.

Пауза. Хотел добавить что-то, но то ли передумал, то ли показалось.

— Спасибо за внимание.

Сел. Брагин смотрел на него с ужасом, лицо вареной свеклы.

— Вы че творите? — прошипел он.

— Правду сказал.

— Понимаете, че теперь начнется?

— Будет то, что должно быть.

После заседания — толпа журналистов, чайки натуральные. Орут, толкаются, микрофоны в лицо суют.

«Доктор Лапин, вы признались в фальсификации?»

«Как докажете сотню?»

«Если свободы нет, зачем вы вообще сюда приперлись?»

Последний вопрос его царапнул. Он тормознул и обернулся к парню в очках.

— Я здесь, потому что не могу здесь не быть. Делаю что делаю, потому что не могу не делать. Это единственный честный ответ.

— Но тогда ваше открытие — не ваша заслуга?

— Нет. Не моя. И вина не моя тоже.

Пошел дальше. Коридоры ООН — бесконечный лабиринт, как нейросеть. Один поворот, второй, третий. Всё связано.

Вечером сидел в баре отеля, на верхотуре. Огни небоскребов — как звезды, только внизу. Взял виски, впервые за сто лет. Ирландское, двенадцать лет выдержки. Дуб, ваниль, что-то там еще — молекулы пляшут на рецепторах.

Брагин припелся, но пить не стал, тупо листал новости в телефоне. Лицо серое, под цвет московского неба.

— Пишут уже. «Российский ученый сознался в фейке». «Безумец из Москвы». «Конец ответственности: ООН в шоке».

— Напишут и успокоятся. Неважно.

— Вам легко. Вы гений, вам простят. А я администратор, меня под зад.

— Уволят — не уволят. Не вам решать.

Брагин поднял глаза — в них плескалось что-то вроде жалости.

— Вы реально верите в то, что несете?

— Я не верю. Я знаю.

— И не стрёмно?

— Стрёмно. Но страх — тоже химия. Адреналин, кортизол. И ничего кроме.

Махнул рукой и свалил. Виктор допил и заказал по новой.

Где-то в углу играл джаз — старый, тягучий саксофон. Музыкант думал, что импровизирует. Хрен там. Мозг тасовал ноты из памяти, гнал по правилам гармонии, мешал с шумом. Но шум — тоже иллюзия.

Виктору вспомнилось: пятнадцать лет, общага в Новосибирске. Отец там преподавал, жили при универе. У соседа был вертак и пластинка Майлза Дэвиса, «Kind of Blue». Сосед поставил и сказал: «Слушай. Это свобода».

Теперь он знал — не свобода. Колебания воздуха на виниле. Сигнал в динамиках. Паттерны в мозгах, предзаданные генами и средой.

Никакой свободы. Нигде.

Но воспоминание всё равно грело.

Допил вторую порцию и двинул к лифту. Там стояла женщина. Высокая, в черном платье, цепочка серебряная на шее. Улыбнулась.

— Вы тот самый ученый?

— Тот самый.

— Я была там. То что вы сказали — это было ужасно.

— Знаю.

— Но правда часто ужасная. Я журналистка, я в курсе.

Зашли в лифт. Она ткнула сороковой, он — сорок второй.

— Можно вопрос? — спросила она. — Не для статьи.

— Валяйте.

— Что нам делать с любовью? Если всё химия. Я мужа люблю, или мне кажется. И что — перестать? Притворяться?

Виктор глянул на нее. Глаза зеленые, реально зеленые, не из романов.

— Я сам без понятия, — признался он. — Я жену люблю, дочку. Или кажется. Но чувство не пропадает от того, что я его механику расковырял.

— То есть можно знать — и всё равно чувствовать?

— Можно. Только это другое чувство. Как в кино, где ты главный герой. Знаешь, что сценарий готов, а всё равно внутри дергает.

Двери разъехались. Сороковой.

— Спасибо, — сказала она. — Немного легче.

— Не за что. Я просто брякнул что должен был.

— И это тоже предопределено?

— Ага. Как и ваш вопрос.

Ушла. Двери схлопнулись.

В номере сел на кровать и вытащил телефон. Сорок семь пропущенных. Больше сотни сообщений. Читать не стал. Набрал Наташе.

Она подняла после третьего гудка.

— Я новости видела, — голос далекий, сквозь спутник продирался. — Ты им всё выдал.

— Да.

— На хрена?

— Не мог иначе.

— Ты всегда так говоришь. Но ты мог. Просто не захотел.

— Наташ, послушай

— Нет, ты послушай. Я понять пытаюсь, правда. Ты говоришь — свободы нет. Окей, допустим. Но зачем ты себя мучаешь? Нас мучаешь? Если всё предопределено, почему просто не жить? Не быть счастливым внутри этой определенности?

Он заткнулся. Вопрос был в яблочко. Он сам себе его задавал каждую ночь.

— Не могу я, — выдавил он. — Не могу делать вид, что не знаю.

— Вот это и есть свобода, Вить. Свобода между знать и не знать. Ты выбрал знать. Ты выбрал правду, а не нас.

— Не выбирал я.

— Выбрал. Только признавать не хочешь.

Бросила трубку.

Он сидел с погасшим экраном. Выбор между знать и не знать? А был он, выбор-то? Мог он не знать того, что знал? Наверное, мог. Но не сделал. Почему? Потому что не мог. Или потому что мог, но не хотел?

Разница ускользала. Всегда ускользала, как вода сквозь пальцы.

Завалился на кровать прямо в одежде. Потолок белый, лампочка в люстре подыхает — мигает дерганым светом, сетчатку рвет. Физиология.

Закрыл глаза.

Завтра — новый день. Новые вопросы, новые наезды. Новые попытки врубиться в то, во что врубиться нельзя, потому что понимание — тоже нейрохимия, лишенная свободы.

Где-то за тыщи километров, в московской лаборатории, гудела машина. Писала данные. Анализировала. Предсказывала.

Знала, что он сделает завтра.

Знала, что сделает через год.

Знала всё.

И в этом знании не было ни угрозы, ни утешения. Голый факт.

Свободы нет.

Петля

В Москву он вернулся в понедельник. Понедельник — день, который все ненавидят. Люди говорят «понедельник — день тяжелый», будто дни недели реально чем-то отличаются. Будто это не просто положение Земли относительно Солнца и циферка в календаре. Оборот планеты, и больше ничего.

В Шереметьево его никто не встречал. Брагин застрял в Нью-Йорке, расхлебывал ту кашу, которую Виктор заварил в ООН. Лена прислала эсэмэску: мол, в лабораторию пока лучше нос не совать, журналисты осаждают. А Наташа от Наташи вообще ничего. Тишина в эфире.

Поймал такси. Таксист, старый армянин с седыми усами, всмотрелся в зеркало заднего вида и вдруг выдал:

— Слышь, это ж вы тот ученый? Ну, который свободу отменил?

— Ничего я не отменял, — буркнул Виктор. — Я просто измерил.

— А разница-то в чем?

— Разница есть. Отменить можно только то, что было. А если свободы сроду не существовало, так и отменять нечего.

Таксист заржал, хрипло так, по-прокуренному.

— Ловко. А скажите мне тогда: если свободы нет, с какого перепуга я сегодня утром поперся на работу? Мог бы дома

остаться, телевизор смотреть.

— Не могли. Хотение остаться дома было слабее привычки пахать. Привычка — она в башке как протоптанная дорожка. Утро, будильник, запах кофе — мозг сам по рельсам катится.

— А если б я взял и не вышел?

— Значит, условия другие. Простудились бы, или с женой поругались, или сон дрянной приснился. Свободы тут нет, одна сложность.

Армянин замолчал, переваривал. За окном тянулось Ленинградское шоссе — серые коробки домов, голые деревья, небо под цвет асфальта. Москва в ноябре — она как старый черно-белый телик.

— Тяжелый вы мужик, — сказал таксист наконец. — Скучно ж так жить, наверное?

— Скучно, — согласился Виктор. — Зато честно.

Дома в прихожей пахло пылью и какой-то заброшенностью. Наташи нет, Аньки нет. На кухонном столе белел листок.

«Витя, я уехала к маме. Мне надо подумать. Аню взяла с собой. Не звони пока. Я сама. Н.»

Почерк спокойный, ровный. Никаких тебе клякс, дрожания. То ли после бессонной ночи писала, то ли после мертвого сна — хрен разберешь.

Он сел на табурет. Третий от окна — тот самый, что вечно скрипит. Наташа сто раз просила починить. Он сто раз

обещал. И ни разу не починил. Не потому что не хотел — потому что не мог. Или мог, но не хотел. Пес его знает.

Просто сидел и тупил на записку. Белая бумага, синие чернила. Буквы складывались в слова, которые ничего не меняли.

В голове крутилось: «Надо ехать за ней. Остановить. Объяснить». Но тело как приросло к табурету. Ноги не шли, руки трубку не набирали. Он просто сидел и пялился на этот листок, как на музейный экспонат чужой жизни.

Через час встал, налил воды из-под крана. Холодная, с привкусом хлорки. Увидел свое отражение в оконном стекле — мужик, который оттуда таращился, был старше, чем Виктор о себе помнил. Седина полезла, вокруг глаз морщины. Глаза, которые видели слишком много циферок и графиков.

И поехал в лабораторию. Не то чтобы решил — ноги сами понесли к метро. Руки сами купили билет. Тело вспомнило маршрут, который проделывало тыщу раз.

Журналистов у входа уже не было — то ли охрана разогнала, то ли им надоело. Только вахтер дядя Коля сидел на проходной, кивнул, будто ничего и не случилось.

Лена была внутри, гоняла чай за компом. Увидела его — чашка в руке дрогнула.

— Я думала, не придете.

— Пришел.

— Вам бы отдохнуть, Виктор Сергеич. Вид у вас

— Знаю.

Он сел за пульт. Машина гудела ровно, умиротворенно, как сытый зверь. Монитор показывал: «Готовность 100%. Ошибок нет».

— Эксперимент надо провести, — сказал он. — На себе.

— Вы это уверены?

— Я ни в чем, Лен, не уверен. Поэтому и надо.

Разделся до пояса, нацепил электроды — на виски, лоб, затылок. Холодный гель на кожу. Запах спирта. Всё знакомое, сто раз проделанное на других.

Залез в томограф. Белый цилиндр сомкнулся вокруг — как гроб. Или как утроба. С какой стороны глянуть.

— Запускай, — сказал он в микрофон.

— Какой протокол?

— Обычный. Кнопки: лево-право. Только с одним изменением: прогноз выводи мне на экран внутрь камеры. Хочу видеть, что машина предсказывает, до того как нажму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.